

Михаил Петрович Арцыбашев

Старая история



Михаил Арцыбашев

Старая история

«Public Domain»

1912

Арцыбашев М. П.

Старая история / М. П. Арцыбашев — «Public Domain»,
1912

«В конце концов дачникам было скучно. Все это был народ, который много говорил о том, что любит природу, восхищался морскими далями, закатом и облаками на таинственной вершине угрюмого мыса, но почти все приехали из больших городов, где природу видели только на картинах и слишком привыкли думать о ней, как о чем-то волшебном, что может совершенно изменить жизнь и дать какие-то особенные, невероятные удовольствия...»

Михаил Арцыбашев. Старая история

I

В конце концов дачникам было скучно. Все это был народ, который много говорил о том, что любит природу, восхищался морскими далями, закатом и облаками на таинственной вершине угрюмого мыса, но почти все приехали из больших городов, где природу видели только на картинах и слишком привыкли думать о ней, как о чем-то волшебном, что может совершенно изменить жизнь и дать какие-то особенные, невероятные удовольствия. И потому, хотя все было действительно красиво – и облака на мысе таинственны, и море голубо, и волны нежны и говорливы, и солнце ярко, – все это казалось однообразным. Хотелось чего-то необыкновенного... какой-то особенной любви, поэтичной, красочной, в которой растворились бы тело и душа, как растворяются они, когда совершенно нагой лежишь на горячем прибрежном песке, в убаюкивающей ванне солнечных лучей, видишь только небо да море, а у ног тихонько звенит совсем прозрачная смеющаяся волна, такая маленькая и кроткая, точно серебряная рыбка, плескающаяся на солнце.

А этого ничего не было. Природа, как всегда, была прекрасна, а жизнь ленива и скучна. Правда, утром, когда ходили купаться и ныряли в голубой волне, было весело, но все-таки чего-то не хватало.

Женщины в пестрых костюмах, сверкая голыми руками, отплывали в море и лежали на воде, точно отдаваясь горячему солнцу. Мужчины с высокого помоста прыгали в воду, ныряли и фыркали, как тюлени. И те, и другие издали поглядывали друг на друга. Мужчины волновались, когда видели над волной круглые розовые руки или неожиданно сквозь щели купальни замечали неосторожное нагое и стройное, мгновенно исчезающее тело. А женщины смеялись звонко и нервно, чувствуя на себе жадные взгляды.

Но потом те и другие одевались и выходили на набережную, одетые, притворяющиеся, что под платьями нет ни наготы, ни желания. Они здоровались, с любезным оживлением болтали о пустяках и расходились обедать.

Набережная пустела, и бесполезно жгло ее белые камни далекое солнце. Только на обрыве, над морем, сидели одинокие девушки с книгами, и нельзя было понять, как могут они читать, когда солнце так горит, и небо такое голубое, и море такое большое. Иногда они устало опускали книгу на колени и долго задумчиво смотрели в растопленную солнцем морскую даль, где чуть мерещились пароходы, плывущие, казалось, в какую-то далекую счастливую страну. А потом потягивались, закинув руки за голову и выгибаясь стройным, гибким телом.

Вечером, когда над морем стояла белая луна, вокруг нее небо было теплое и дальний мыс таял в прозрачной дымке, на обрыве начиналась особенная, таинственная жизнь. То тут, то там раздавались голоса и странно громки были только женские. Мужчины бурчали так тихо, что можно было подумать, будто там одни женщины. И оттого казалось, что они говорят и просят о чем-то таком, чего нельзя сказать громко. А в звонком и лукаво наивном смехе женщин отчетливо слышалось:

– Знаю, чего тебе хочется от меня... Может быть, догадайся, я сама хочу того же... Но я не скажу этого, нет, не скажу...

Это были счастливые, которые уже нашли то, чего им было нужно от этой солнечной и лунной природы, от моря и теплой южной ночи. А остальные, в смутном ожидании какого-то счастья, ходили по набережной, слушали разухабистый военный оркестр, в котором, казалось, было слишком много барабанов, смеялись повторяющимся островам и ужинали на поплавках. Им было скучно и обидно, точно кто-то обманул их.

На том поплавке, который был ближе к музыке, каждый вечер ужинала одна и та же компания случайных курортных знакомых: веселый доктор, в белой панаме, с женой – молодой и бледной дамой; известный писатель, большой и басистый мужчина, с огромной швейцарской трубкой в зубах; больной чахоткой студент и тоненькая, большеглазая, как будто бы вся голубая девушка, которую днем постоянно видели с красками, примостившуюся где-нибудь у розовых камней, облизываемых белой пеной.

Это была дружная компания интеллигентных, неглупых людей. Благодаря тому, что среди них был известный писатель, многие с любопытством и завистью поглядывали на их столик и прислушивались к их разговорам. Поэтому писатель говорил преувеличенно громко и важно дымил своей трубкой.

Должно быть, потому, что среди них была молоденькая, еще не любившая, но готовая полюбить девушка, такая хорошенькая в своей синей юбке и белой рубашке с синими полосками, разговор постоянно вертелся около любви.

Каждый говорил о ней по-своему. Доктор отрицал, как счастливый человек, и когда он высмеивал мнимую поэзию чувства, намекая, что не в поэзии тут дело, жена его улыбалась и поглядывала на мужа влюбленными, лукавыми глазами. Писатель, пуская клубы дыма и щеголяя наблюдательностью, вдавался в тонкости психологии, говорил так хорошо, как будто писал рассказ, но никак нельзя было понять, во что он сам верит. Больной студент, иронически покашливая, подпускал пессимизма, и его болезненные колкости, пылающий румянец на острых скулах и беспричинная злость говорили ясно, как хочется ему ласки и любви вот такой милой, нежной и чистой девушки. А она слушала внимательно, серьезно поворачиваясь к тому, кто говорил, казалось, прислушивалась к чему-то в глубине своей тонкой, целомудренно пытливой души.

– Что вы мне говорите, – злился чахоточный студент, точно боялся, как бы их речи не вскружили светловолосой и темноглазой головки, прислушивающейся к каждому слову и бледнеющей от волнения. – Любовь... Разбираться в том, есть ли это просто грубый половой инстинкт или какое-то сложное чувство... шестое чувство... – болезненно покривился он, – я не буду. Любовь есть факт, а все остальное в высокой степени второстепенно... Я знаю только то, что в любви нет ничего облагораживающего, как вы говорите, а, напротив, она унижает и обесцвечивает человека.

Он заметил, как темные глаза испуганно-повернулись к нему, и продолжал, возвышая надорванный голос:

– Говорят, человек, купивший фарфоровый сервиз, потерял свободу, а тут не сервиз... Вы чужую жизнь берете. И вечно должны вы помнить, что каждое ваше слово, каждый ваш шаг отражаются на другом, и притом – на человеке, которого вы любите, который вам дорог... Это ведь ужасно... Вы не хотите, не можете и не имеете права огорчить, сделать несчастным, испортить чужую жизнь... А потому мало-помалу приучаетесь казаться веселым, когда вам скучно, работать, когда вам не хочется, дорожить своей жизнью, когда вам нужно поставить ее на карту... Самое натуральное рабство... Говорят, что любовь есть предпочтение одного перед всеми...

– Зачем же перед всеми? – игриво перебил веселый доктор и переглянулся с женой таинственным, говорящим взглядом, от которого она покраснела и притворно погрозила ему пальцем.

Студент покосился на них, подумал, что это пошло, и брезгливо заметил, как будто вскользь:

– Несчастливая любовь – страдание, а чересчур счастливая – пошлость... Любовь же умеренная, как теплая вода, ни то ни се... и не любовь вовсе... Так, значит, если правда, что любовь есть предпочтение одного перед всеми, то ведь это-кастрация... Человек отказывается от всего, что может быть лучшего, надевает шоры, становится дураком, факиром, кото-

рый удовлетворен созерцанием своего пупка и не видит, как мимо проходит каждый день новая красота, целый хоровод новых возможностей счастья и радости... Да, может быть, когда-нибудь и додумаются до форм истинно свободной любви, но теперь увы! – единственная форма свободы в половых отношениях, извините за выражение, проституция.

Писатель, шурясь от дыма, с высоты своего огромного роста посмотрел на его бледное озлобленное лицо и подумал: «Бедняга... А ведь он, кроме дешевых публичных домов, ничего не видел в своей жизни... Так и умрет, не увидев, и будет думать, что прав».

Веселый доктор, которому надоели отвлеченные рассуждения, сказал:

– Во многом вы, конечно, правы... Мужчина и женщина слишком не похожи друг на друга и ожидать, что они придут к соглашению без тяжких взаимных уступок, нелепо... Да и вообще... каких только трагических коллизий не создает эта самая любовь... Вот, например, здесь, недалеко на хуторе, живет один мой хороший приятель, некто Перовский...

– Перовский?.. А, да... – оживившись, отозвался писатель. – Это действительно драма...

И, почему-то повернувшись прямо к девушке, он красиво и интересно рассказал длинную историю.

Этот Перовский еще студентом сошелся с женщиной гораздо старше его. Ему было лет двадцать пять, а ей под сорок, но она была очень хороша. В прелести увядающей женщины есть что-то невыразимо обаятельное, напоминающее осеннюю астру. Трогает красота, которая сегодня так красочна и привлекательна, а завтра осыплется, как осенний цветок. И в сознании своей последней красоты она становится особенно нежна, дорожит каждой лаской, отдается полно и бесстыдно, как могут отдаваться только умирающие, для которых уже не существует завтрашний день. И чем моложе мужчина, чем сильнее в нем запрос сладострастия, тем ярче чувствует он эту прелесть. Оттого постоянно явление, что очень молодые мужчины отдают свою первую любовь женщинам известного возраста.

– Может быть, еще и потому, – говорил писатель, – что в любви такой женщины всегда есть оттенок материнства, который так трогает и привязывает... У этого Перовского был когда-то большой голос. Ему прочили карьеру первого русского баритона... Я помню, как еще в университете барышни толпой бегали за ним... А эта Лидия Павловна бредила его славой... Она аккомпанировала ему, ухаживала за ним, берегла его голос, баловала... создала вокруг него целый культ. Казалось, она готова была на смерть ради того только, чтобы он имел маленький лишний успех. И надо признаться, что он ей многим был обязан. Но годы брали свое. Из прелестной женщины она мало-помалу превращалась в увядшую, немножко-таки комичную старуху... Как-то уже и странно, и больно было видеть их вместе: он – совсем молодой, захватывающий своим пением и всей своей широкой, богато одаренной натурой, постоянно окруженный влюбленными девушками, а она – незаметная, комичная, старающаяся притираниями и фальшивыми зубами продлить неудержимо уходящую молодость... Над ними стали посмеиваться. Перовский, конечно, не мог этого не видеть, и страдал. Да он и сам, вероятно, уже тяготился этой противоестественной связью, томился и мечтал о новом, ярком, молодом чувстве. Но у него, к несчастью, была глубокая, благодарная, жаждущая подвига душа. Он не мог забыть прошлого, не мог принести ее в жертву, страдал и кончил тем, что в жертву принес себя. Он стал уверять и ее, и себя в мишурности всякой карьеры и уехал сюда, в какой-то хутор... Просто спрятался от людей и от жизни, которая слишком мучительно тянула его к себе... Теперь, конечно, все пропало... Он побледнел, потускнел... живут они в своем хуторке, почти ни с кем не знают, сажают виноград, копают грядки... Жизнь кончена... А какая это могла быть красочная, живая, интересная жизнь...

Девушка в белой рубашке с синими полосками, вся бледная от волнения и жалости, смотрела прямо в рот писателю темными скорбными глазами. И чувствуя этот трогательный, печальный взгляд, писатель рассказал эту историю, эту драму, незаметную и страшную, так

торжественно и грустно, как будто читал чье-то скорбное и святое житие. И веяние печали тихо проносилось над ними. Даже веселый доктор, давно знавший эту историю и никогда не придававший ей значения, приуныл, а жена его побледнела, и тайный страх тенью лег на ее молодое счастливое лицо. Когда писатель кончил и принялся набивать свою трубку, долго молчали. Слышно было, как за обрывом шумит море, где-то плещутся весла и несмело запевает молодой голос.

А потом начали спорить. Писатель горячо доказывал, что в этой жертве есть настоящая красота; студент озлобленно, как личного врага, высмеивал человека, который из-за какой-то старой бабы отказался от жизни, а веселый доктор начал ругать эту женщину, которая приняла жертву и не сумела уйти вовремя.

– Но ведь и она не виновата... – робко заметила его жена.

– Мало ли чего, не виновата... Так, значит, губить человека?

Доктор стал спорить уже с женой, увлекся и так нетактично, уже ни к селу ни к городу, намекнул, что свой своему поневоле – брат, что молодая женщина обиделась и чуть не заплакала. От ее зазвеневшего слезами голоса всем стало неловко, и больной студент, ссылаясь на сырость, предложил идти по домам.

Было, впрочем, и в самом деле уже поздно. Музыка давно замолкла, городок затих, набережная опустела, и только редкие огоньки в дальних дачах говорили о том, что еще не все спят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.